

Содержание

Максим Стрежний
Наталья Солдатова
Ольга Кузьмина
Владимир Марышев
Эльвира Жейдс
Злата Линник
Станислав Бескаравайный
Галина Бельтюкова
Александр Москвин
Николай Гриценко
Глеб Пудов
Светлана Арро
Ирина Зауэр

Леонид Либкинд
Алёна Даль
Юлия Махмудова
Андрей Таран
Елена Ивченко
Владислав Шамрай
Валерий Мазманян
Александра Дерюгина
Олеся Бересток, Алексей Федосеев
Эрих фон Нефф
Сергей Игнатъев
Александр Игнатъев
Василий Ворон

ISSN 1866-6310

Выходит 4 раза в год

Мнения редакции и авторов публикаций не обязательно совпадают.

ИНЫЕ МИРЫ

Максим Стрежний

Омск

ТОНКИЙ ПОДХОД

1

Старший помощник капитана легкого катера «Несокрушимый» отдельного дивизиона Специальных военно-космических сил Шафранов шел по коридору. Его губы были сурово сжаты, а шаг почти по-парадному четок — в моменты жизненных неурядиц старпом всегда обращался к самым лучшим своим качествам.

У дверей капитанской каюты Шафранов остановился. Он дважды глубоко вдохнул и протянул руку к панели.

Капитан отозвался через секунду, и Шафранов удивился тому, что он до сих пор не спит:

— Разрешите обратиться, капитан? У нас... внештатная ситуация.

— Что, опять что-нибудь взорвалось?!

«Если бы что-нибудь взорвалось, вы бы уже знали об этом!» — подумал Шафранов, по давней привычке даже в мыслях называя старшего по званию на «вы».

— Хорошо, старпом, дайте мне минуту.

Шафранов понял, что капитан все-таки отдыхал.

Ровно через минуту дверь плавно вобралась в переборку. Капитан Грэд предложил войти, и Шафранов, решившись, оказался в скупо обставленном помещении старого космического волка.

— Докладывайте.

Старпом увидел капитана, уже одетого, сидящего у небольшого столика, на секунду замялся и произнес первую, самую трудную фразу своего рапорта:

— Капитан, у нас проблемы с главным контроллером.

— Как, снова? — Грэд нахмурил густые, серые от седины брови. — Вы ведь подключили к системе этого гражданского программиста, Лоусона. Мне доложили, что он на подсознательном уровне будет управлять системой даже во время сна и наиболее важные бортовые системы будут функционировать в штатном режиме. Так?

— Так точно, — подтвердил Шафранов.

— Тогда в чем дело? Он не справился? Но корабль, — Грэд взглянул на планшет, — но корабль в порядке, курс верный, сообщений о неполадках нет.

ПЕРЕВОД

Глеб Пудов
С.-Петербург

ПЕРЕВОД СТИХОВ НИКОЛАЯ ШАБОВИЧА

Н.Шабович — поэт, переводчик, педагог. Родился в 1959 году в деревне Бадени Мядельского района Минской области. Окончил филологический факультет Минского государственного педагогического института им. М.Горького (ныне — Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка), кандидат филологических наук, доцент. Автор более 50 научных статей и монографии. Член СП Беларуси с 1998 года. Лауреат Международной литературной премии имени Сергея Есенина, лауреат Республиканской литературной премии «Золотой Купидон». Автор поэтических сборников «Дом» (1996), «Яшчэ пакуль не лістапад» (1996), «Падары мне сваю адзіноту» (2002), «Мая надзея» (2006), «Хор болей не спявае: пародыі, эпіграммы, прысвячэнні» (2008), «Грыколы ад Міколы» (2015).

Грустный осенний триптих

1.

Грѐз моих вдруг порвалась струна
И теперь надолго отзвенела.
Нас разделит чѐрная стена,
Ты заснёшь печально и несмело.

А стихи на годы сберегут
Наши чувства, расставанья-встречи,
И следы, что врозь уже бегут,
И в ночи твоѐ «arrivederci».

2.

И порвалась еще одна струна,
Совсем моя гитара онемела.
Не исчерпала грусть мою до дна
И разгадать желанья не сумела.
О состраданье вовсе не прошу.
Наверно, к музыке лишен я дара.
Окно закрою, строчкой согрешу,
Святым иконам помолюсь я с жаром.

Затем отправлюсь в предрассветной мгле
Туда, где осень тускло серебрится,
Где песнь моя звенит среди полей
И в небеса взлетает словно птица.

3.

Подбери мне песню, подбери,
И такую, что ещё не спета,
Нам с тобою, что ни говори,
Вместе быть на этом белом свете.

Подбери мне песню, я молю,
Подбери такую, как ты хочешь,
Чтобы душу нежила мою,
Думы растревожила средь ночи.

Пусть прольется звук через окно
В вышину, что ласково синееет.
Чай я пью, как будто бы вино,
И не понимаю, что пьянею...

Подбери мне песню, подбери,
И такую, что ещё не спета,
Нам с тобою, что ни говори,
Вместе быть на этом белом свете.

ПОЭЗИЯ

Светлана Арро

Франкфурт

* * *

Отечество мне — домик у реки
На новосельско-нерльском косогоре.
Мои шаги там были так легки!
Мои следы слезой в житейском море
Остались, не просохли, не ушли —
Слились с травой на краешке земли.

* * *

Не бывать Петербургу *лусту*:
Всюду толпы, торги и разгром.
А дворцов кричащие бюсты
Дворней куплены вместе с гербом.

Так же плещет Нева о ступени.
Голос бывших пророков замолк.
Дамба встала. А бедный Евгений
Всё бежит, как затравленный волк.

* * *

Буйный ветер прошумел —
Стих.
Ловит в сети шоумен
Стих.

Родила опять гора
Мышь.
Кипятку давно пора
В тишь.

Миротворцу все пути
В цвет.
Оглянуться и уйти?
Нет.

* * *

Дым отечества,
Дым чужбины...
Так и мечешься
Без причины.

Выбор труден
И сделан поздно
Между буден
И родин звёздных.

КРАТКО

Леонид Либкинд

Нью-Йорк

Незванный гость
со всей роднёй явился.

*

Дождливым было лето — зря худела.

*

Отрезанного ломтя не хватало.

*

Сплав льда и пламени — всего лишь пар в итоге.

*

Не падай духом на кого попало.

*

Заела совесть? Предложи ей выпить.

*

Мысль отыскал среди чужих извилин.

*

Слыл на Фейсбуке сетевым гулякой.

*

Сижу меж психов. Что же загадать мне?..

*

Писал остроты — было не до шуток.

*

К дверям закрытым интереса больше.

*

Ждал утром чуда, а пришло похмелье.

*

Откуда двойня?! Я с ней был однажды!

*

Судья: «Он нам по всем статьям подходит».

*

Я прошлым утром целый день был занят.

*

Давно весна, но май, видать, не в курсе.

*

Три буквы и предлог, а сколько смыслов!..

*

Над пропастью? Во ржи? Что за причуды, милый?

*

Никак не мог поймать себя на мысли.

*

Чтоб дёшево отделаться — платите.

*

Обходчик был какой-то непутёвый.

*

Озеленим пустыни миражами!

*

Сквозь декольте хотел увидеть душу.

*

Согреть не забывайте тех, кто светит.

*

Не все увидят, что покажет время.

*

Вторая молодость ушла — вернётся детство?

*

РАССКАЗ

Алёна Даль

Воронеж

ХОЛСТЫ

(цикл рассказов «Города»)

На третий день, когда косматое солнце медленно катилось за горизонт, Вика снова увидела художника.

Парк опустел. Белёные стволы олив, испепелённые временем и зноем, морщились под неподвижными кронами. Прибой лениво лизал разноцветное галечное монпансье. Кругом ни души. Даже привычные звуки — щебет птиц, стрекотание цикад — слышались теперь глухо, словно сквозь вязкую толщу воды. Замедлив шаг, женщина стала разглядывать остывающее море, украдкой наблюдая за стариком.

Тот как всегда сидел на деревянной скамеечке, отполированной творческими ёрзаниями его тощего зада. Установив этюдник, придирчиво осматривал кисти и мастихины, перекладывал с места на место сморщенные, как стволы олив, тюбики с краской, баночки и тусклые пузырьки.

Долго отколупывал ногтём невидимую крошку с палитры и шарил по бездонным карманам синей фланелевой куртки. Его мятая коричневая шляпа лежала возле ног тульей вверх — верный признак того, что он собирался писать для души, а не ради денег. А значит, не будет лубочных приборьев, тёмных кипарисов и леденцовых закатов. Зато у кого-то может перемениться судьба. К лучшему или к худшему? Никто не знает...

Чудаковатого старика-живописца Вика впервые встретила неделю назад в тоннеле, отделяющем шумную Будву от сонных Рафаиловичей. Высокий и костлявый, он шёл размашистым шагом с ветхим этюдником на плече, надвинув до самых бровей широкополую шляпу. Услышала же о нём двумя днями раньше от школьной подруги Риты — местного экскурсовода для состоятельных туристов. Старик объявился внезапно. Не было, не было — и вдруг р-р-раз! — и будто жил он здесь всегда. Будто сидел многие десятки, а то и сотни лет на пирсе с удочкой в руках или в баре у скалы, потягивая свой вранац¹ и разглядывая горизонт сквозь оптический прицел художника-снэйпера. Будто сам он и написал давным-давно весь этот красочный мир вокруг, а теперь, развесив холсты, любовался работой с удовлетворением счастливого мастера.

Старый художник с седой косицей взбудоражил размеренное течение курортной жизни. Он стал местной достопримечательностью, но вызывал столько лишних пересудов, что мешал Ритиной работе. Подруга была убеждена: нет ничего хуже непредсказуемости. А всё, что касалось художника и его картин, было от начала до конца сплошной непредсказуемостью.

— Держись от него подальше! И не вздумай заказать портрет! — наставляла Рита, торопливо отхлёбывая кофе. — Он может нарисовать всё что угодно — и всё сбудется. Однажды он пририсовал одной сербке на портрете чёрный платок, и у неё умер муж! Внезапно... тромбоземболия... Здоровый, крепкий мужик был!

— Рит, ты что, вправду в это веришь? — переспросила Вика, силясь узнать в сидящей перед ней экзальтированной особе рассудительную одноклассницу с твёрдой пятёркой по научному атеизму.

— Веришь — не веришь... лучше не рисковать, — отрезала та и укатила по делам в Тиват.

Черногория дремала на излёте курортного сезона. Лето тихо угасало, обретая акварельную мягкость: прозрачная бирюза залива, густой багрянец дикой лозы, пепельный камень и приглушённая терракота черепичных крыш. За грубой ставней золотились тяжёлые грозди винограда. Перезревшие плоды граната лопались прямо на ветках, обнажая бархатное нутро с блестящими винными зёрнами. Усталое сентябрьское солнце смягчало привычные очертания домов, деревьев и гор...

Жизнь в опустевшем городке текла размеренно и неспешно. Разбирали дощатые настилы, заколачивали бабы, паковали и увозили зонтики и шезлонги. Катамараны, перевёрнутые брюхом вверх, валялись на песке как выброшенные штормом железные рыбины. Одинокие корабейники бродили среди последних туристов, сбывая за бесценок никому не нужные сланцы и надувные круги.

В такие дни легко отдаться течению времени, не задумываясь о том, что будешь делать через час или через день. Можно отправиться на пустынный пляж и, уютно устроившись в забытом шезлонге, наблюдать за изменчивым настроением моря. Или почитать книжку под убаюкивающий рокот волн, а потом взять и заснуть. И не беспокоиться о том, что книжка захлопнулась без закладки, и завтра снова надо будет искать нужную страницу. Или бродить вдоль безлюдного берега ровно столько, на сколько хватит сил...

В одну из таких бесцельных прогулок Вика стала свидетельницей любопытной истории.

¹ Вранац - балканский сорт винограда и одноименное красное сухое вино.

ДОМ НА ОБРЫВЕ

— Христофор! Христо! Ну что ты там копаешься? Бежим скорей! Все пропустишь!

Стайка подростков в линялых штанах и распахнутых рубашках бежала по улице поселка к морю, взбивая крепкими пятками клубы пыли. Там, на краю синей глади, сквозь дрожащую пелену виднелись огромные невиданные серебряные машины, похожие на длинноногих слонов, забредших на водопой. Они медленно двигались, занимая свои места. Опускали длинные хоботы в воду и замирали. Мальчишки заворуженно смотрели на них, прикрывая ладонями глаза от яркого солнца.

— Как в кино, да? Скажи! Вот это да! — толкали они друг друга локтями.

И только один из них стоял нахмурившись, напряженно ссутулившись, словно предчувствуя недоброе.

Недоброе называлось «Великим распределением» или «Большой дележкой», как окрестили это событие в народе.

Христофору тогда было шестнадцать.

— Деда, смотри! Подойдет тебе, да? — маленький Сальва тащил кусок ржавой и дырявой, как решето трубы.

— Ишь! Где ты нашел это сокровище? — дед потрепал внука по темной кудрявой голове и восхищенно зацокал языком.

— Там, — Сальва махнул рукой в сторону западной окраины, — за синим домом в кустах валялась.

— Молодец, Сальвадор! Ты мой настоящий помощник!

— А теперь ужинать?

— А теперь ужинать!

Христофор взял маленькую горячую ладошку внука в свою и пошел в дом. Тусклая лампочка над обеденным столом едва освещала кухню, но и этого вполне хватало. Рассматривать особо было нечего. Старый некрашенный стол, несколько табуреток, пыльный рукомойник да шкаф с остатками кухонной утвари — вот и все богатство. Стены беленые, пол скобленный — чего тут освещать?

Дед достал из шкафа пару жестяных банок и пол-литровую бутылку с водой. Открыл консервным ножом банки, влил туда по капельке воды, аккуратно, стараясь не пролить. Остаток воды разлил по стаканам — внуку побольше, себе поменьше. Размешал серую гущу в банках ложкой — вот и ужин.

Сальва тут же принялся уминать содержимое, аж за ушами трещало. Что с него возьмешь? Малец другой еды не пробовал отродясь, ему это вкусно и привычно. Христофор же зачерпывал из банки по чуть-чуть и долго перекачивал кашу во рту, напрасно пытаясь представить почти забытый вкус маминого супа или горячего хлеба, или сочных мясистых помидоров. Как давно это было... Бывало, сидишь на песке, смотришь, как белые паруса яхт неторопливо качаются на волнах. У тебя в одной руке початок кукурузы, в другой лепешка с сыром. На носовом платке рядом горсть фиолетовых слив с пыльно-серым налетом на глянцевых боках и янтарно-медовой серединкой. А впереди все лето и вся жизнь...

— Деда!

Христофор вздрогнул.

Внук уже поел и теперь теребил его за рукав, подсовывая под ладонь свою любимую книгу.

— Расскажи про море!

— Сальва, сынок, ты же тысячу раз слушал...

— Еще! Я еще хочу, — настаивал внук, взбираясь деду на колени, бережно, затаив дыхание, раскрывая книгу, как сундук с сокровищами.

Дед улыбнулся, чмокнул мальчика в черные пыльные вихры и начал рассказ:

— Это, Сальва, море...

— Море? А что это?

— Ты же спрашивал уже!

— Ну! Скажи еще раз!

— Море — это много воды. Очень много!

— Много — столько? — и Сальва разводил руками так широко, как мог, — Как в тазу после дождя?

— Нет, Сальва, как в тысяче тысяч тазов после тысячи тысяч дождей. Море — это когда воды столько, что ты не видишь, где она кончается. Ты видишь только самое начало, похожее на голубой сарафан твоей мамы. Помнишь? Тот шелковый голубой сарафан с белым кружевом на юбке? Такое же кружево было и у моря, у каждой волны. Море — оно такое огромное, что никому не под силу его переплыть. И поэтому люди научились строить корабли. Большие корабли с белыми парусами. Эти паруса надувались на ветру, как простыни, которые твоя бабушка сушила на веревке. Помнишь? И люди на кораблях плыли по морю много-много дней и ночей...

— А куда они плыли?

ДЕТЕКТИВ

Олеся Бересток

Макеевка, Донецкая обл.

Алексей Федосеев

Люберцы, Московская обл.

ВСЁ ДЕЛО В ШЛЯПЕ

Доктор Тревельян проводил мистера Фергюсона до лестничной площадки между первым и вторым этажом, и, ласково придержав за рукав, сказал на прощание несколько ободряющих слов. Судя по внешнему виду мистера Фергюсона, слова поддержки были ему нужны. Ещё далеко не старый, он выглядел совсем неважно: впалые щёки, опухшие красные веки, опущенные вперёд плечи — только усугублявшие впечатление от врождённой сутулости.

Я смотрел, как мистер Фергюсон шаркающей, словно у старика, походкой пересекает огромный холл, громко стуча по полу массивной тростью.

— Как прошёл сеанс, мистер Фергюсон? Выглядите вы сегодня значительно лучше. Я уверен, что ещё один-два визита, и вы больше не будете нуждаться в помощи каких бы то ни было врачей. Доктор Тревельян творит настоящие чудеса.

Пока мистер Фергюсон бормотал что-то в ответ, одним ловким, изящным движением я снял с массивной бронзовой вешалки котелок и с лёгким поклоном подал посетителю. Мой разум понимал, что подавленный своими проблемами человек вряд ли заметит подмену головного убора, но сердце, как всегда в подобных случаях, забилось чуть быстрее. Я почти не дышал, пока мистер Фергюсон медленно прилаживал подготовленную мной шляпу на изрядно польсевшую голову. Наконец, махнув на прощание, он всё так же медленно вышел в открытую перед ним дверь. И только когда до меня перестал доноситься стук его трости о мостовую, я вздохнул с облегчением.

Теперь оставалось только одно незаконченное дело.

Я обогнул конторку, за которой проводил большую часть рабочего времени, подошёл к стоящему в тени ниши, покрытому тёмным лаком секретеру. Вынув настоящий котелок мистера Фергюсона, я взял мою деревянную самодельную трость, поднял её острым концом вверх и нахлобучил сверху головной убор. Одно резкое движение — и вот уже котелок вращается на конце трости так, что я чувствую поднимаемый его полями ветерок. Перед моим мысленным взором встаёт шаркающий вниз по Харли-стрит клиент доктора Тревельяна. И я вижу, как с каждым новым оборотом его шляпы, плечи мистера Фергюсона поднимаются, словно лежавшая на них тяжесть постепенно убывает, выражение лица смягчается, походка становится увереннее и твёрже...

Закрыв дверь за последним на сегодня клиентом и записав информацию о посещении, я поднялся на второй этаж к доктору Тревельяну.

Надо заметить, психоанализ — очень необычный раздел медицины. У психоаналитиков — всё ни как у других врачей. Работают они в кабинете, который мало чем напоминает врачебный, своих пациентов называют клиентами, а сам процесс лечения — сеансами. Поначалу было непривычно, что в кабинете доктора Тревельяна нет ни слуховой трубки, ни манжеты с грушей для измерения кровяного давления, ни даже молотка, которым психиатры стучат по коленкам. Кабинет больше напоминал не приёмную врача, а джентльменский клуб — как я его себе представлял. Книжные шкафы, письменный стол из красного дерева, столик поменьше — для графина с водой, огромное кожаное кресло и довольно миниатюрный, но тоже кожаный диван, у которого был только один подлокотник.

Впрочем, мне ли удивляться роскоши обстановки. Я и получил-то данную работу лишь потому, что доктор Тревельян, любивший пустить пыль в глаза своим состоятельным клиентам, однажды решил, что ему необходим собственный дворецкий. Да, я приношу по утрам в кабинет список запланированных на день посещений, отмечаю фамилии клиентов и время визитов, веду ещё кое-какие записи, но всё это делаю именно я, думаю, лишь потому, что в силу своей предыдущей профессии, я умею изящно и со вкусом подавать клиентам пальто и шляпу.

— Доктор Тревельян, я вам сегодня ещё буду нужен?

— Нет, Двэйн, спасибо. На сегодня всё.

— Тогда до завтра, доктор Тревельян.

— До завтра, Двэйн.

Поднявшись пару десятков ярдов вверх по Харли-стрит, сворачиваю на широкое шоссе. Мой путь пролегает через парк Кресент, мимо знаменитых полукруглых дворцов, построенных каким-то прославленным архитектором для Георга IV. Миновав Кресент, направляюсь на север, теперь по левую руку у меня — зелёная стена Риджентс-парка, по правую — роскошные террасные дома, которые мало чем отличаются от дворцов, тем более что и построены они, кажется, тем же самым архитектором. В последнее время я всё чаще ловлю себя на том,

что всё это великолепии различаю только по высоте и толщине колонн на фасадах. Видимо, сказывается общение с доктором Тревелияном. Дойдя почти до самого конца парка, сворачиваю на Глостер Гейт, прохожу мимо последних террасных домов, пересекаю пустырь и оказываюсь на Деланси-стрит. Дома здесь почти такие же большие, но уже не такие яркие и светлые, как правило — тёмно-красные или коричневые. Селятся здесь в основном те, кто работает на богачей, проживающих вокруг парка, либо мелкие служащие многочисленных государственных учреждений Вэстминстера.

Пройдя три квартала, я, наконец, в последний раз поворачиваю на север, и оказываюсь на Арлингтон-роуд — улице, где я родился. Одноэтажные, редко двухэтажные домики, превращённые в торговые лавки. Другой работы, кроме как что-то делать собственными руками и продавать это здесь же, в своей лавке или на близлежащем рынке, в этом районе никогда не было. Сейчас большинство лавок закрылись навсегда, наша — тоже из их числа. Мои дед и отец были шляпных дел мастерами, по их стопам пошёл и я. Но когда в начале двадцатого века в Лондоне и окрестностях открылись несколько фабрик, на которых шили шляпы наёмные рабочие, дела постепенно пришли в упадок. Несколько лет назад умер отец, взяв с меня слово, что лучше я закрою семейный бизнес, чем в угоду моде начну мастерить дешёвые канотье. Сам он даже за котелки брался с большой неохотой, считая это ниже своего достоинства. Но что оставалось, если цилиндры уже лет двадцать как никто не носил в нашем боро, они давно стали уделом аристократов. Но и котелки покупали всё реже, а на одних соломенных шляпах далеко не уедешь. Наследников у меня нет, сын погиб ещё в младенчестве вместе с женой, а молодёжь в ученики идёт сейчас неохотно. И протянув ещё пару лет, я всё же вынужден был расстаться с любимым делом...

Обычно я заглядываю по дороге в лавку Холла Пикрофта — он, в отличие от меня, дело своё ещё не прикрыл, хотя концы с концами и у него давно уже сходятся с большим трудом. Но сегодня не тот день, сегодня я несу домой новый экспонат для своей коллекции.

Отперев входную дверь, я зажигаю лампу, спускаюсь по лестнице в подвал.

Как всегда, перед тем, как добавить новую шляпу к остальным, я на несколько секунд её надеваю...

В нос ударяет знакомый по мясной лавке запах, в руке — огромный тяжёлый нож для разделки туш. На мраморном полу лежит тело женщины, белые плиты под ним стремительно темнеют от крови. Слышно, как кровь капает с лезвия ножа. Несколько секунд я смотрю на красные точки под ногами, потом опускаю наконечник массивной трости в натёкшую лужу, и, словно пером, вывожу на белой поверхности красную букву «Б». Снова макаю трость, и вывожу вторую букву: «Л»...

Убедившись, что шляпа впитала все самые ужасные мысли, что мучили, травили мистера Фергюсона весь последний год, я снимаю котелок. Бедный, бедный мистер Фергюсон, до чего он себя довёл своей ревностью. Но теперь всё позади. Фантазии обманутого мужа больше к нему не вернуться — закрытые, завинченные в шляпе, словно яд в стеклянном пузырьке. Осталось только надёжно запереть котелок в железном шкафу...

Но неожиданно на улице, рядом с домом, поднялся страшный шум, я узнал испуганный голос Холла. Так и не выпустив шляпу мистера Фергюсона из рук, я поспешил на крики...

Батч, бывший хозяин мясной лавки в квартале отсюда, держал Холла за грудки и орал на него во всё горло. Недолго думая, я бросился их разнимать.

— Батч, Холл, прекратите!

— Он обозвал меня ослом, — рычал Батч.

— Холл обязательно перед тобой извинится, — уговаривал я, пытаюсь оторвать руки Батча от рубашки Холла.

— Это он должен передо мной извиниться, — хрипел Холл, — он назвал меня вором...

Холл Пикрофт когда-то держал антикварную лавку, но сейчас он вынужден был торговать таким ветхим хламом, что иначе как старьевщиком Холла давно уже никто не называл (впрочем, он на это совсем не обижался). Жители со всей Арлингтон-роуд несли ему всякое барахло — от старой посуды до изношенных ботинок. Что-то Холлу удавалось продать, и тогда он делился полученным барышом с бывшим владельцем. Но чаще он выступал в роли менялы: если кому-то что-то срочно было нужно, ему просто приносили взамен что-то ненужное. Вот почему наличных денег у Холла почти не водилось.

Но сегодня, похоже, Холл продал что-то из вещей Батча, и тому, видимо, показалось, что Холл забрал себе большую часть выручки.

Потратив минут двадцать и приложив весь свой дипломатический талант, я, наконец, помирил соседей.

— Зайдёшь ко мне на ужин? — спросил Холл. — Я сегодня заработал несколько шиллингов, угощу тебя мясным рагу.

— Да, чуть позднее. Только доделаю одно де... Ты не видел серый котелок, с которым я вышел из дома?

— Нет, я вообще не видел, как ты появился. Этот грубиян так крепко схватил меня за...

— Я вышел из дома, держа шляпу в руках. Но чтобы вас разнять, должен был оставить её либо на перилах крыльца, либо на лавке... Но сейчас я её нигде не вижу.

— А что, хорошая была вещь? — с сочувствием спросил Холл.

— Да дело не в этом. Это для моей коллекции...

A LA GUERRE...

Эрих фон Нефф

Сан-Франциско

УВОЛЬНИТЕЛЬНАЯ В ТИХУАНЕ, 1957

Большая часть нашего 272-го взвода прошла учебку успешно. Только один сломался на физподготовке и был отстранён по медицинским показателям. Двоих отправили обратно для прохождения дополнительных курсов. Четверо не сдали экзамен обращение с винтовкой M1 и также были отправлены на повторное обучение. И ещё один перевёлся на флот. В общем, 272-й взвод был выпущен из учебки 30 сентября 1957 года, потеряв только восемь человек личного состава. Наши инструкторы — штаб-сержант Лессер, сержант Рассел и сержант Френсис — своё дело знали.

Конечно, учебка Корпуса морской пехоты была тяжёлым испытанием в плане физподготовки, но ещё труднее было выдержать психологический стресс. Посреди ночи в казарме вдруг раздавались свистки, инструкторы колотили палками по пустой канистре и вопили: «Подъём, дамочки! Встать, живо!» И вот ты уже ходишь гусиным шагом по плацу. Или стоишь, вытянув руки вперёд, и держишь свою винтовку на кончиках пальцев. Держишь до тех пор, пока боль в мышцах не становится невыносимой. И когда инструктор видит, что винтовка вот-вот упадёт, то выхватывает её у тебя из рук и тычет прикладом в живот. А если ты гордо выдержишь это испытание, инструктор орёт: «Брось винтовку в песок, новобранец, и почисти её заново».

Но худшим было наказание за курение, когда курить запрещено. «Марш в офис, баклан!» А в каюте инструкторов нарушителю совали в рот сразу три или четыре раскуренных сигареты и надевали на голову ведро. Если этого казалось мало, то инструкторы могли вдобавок стучать по ведру своими стеками, пока бедолага курит свои сигареты. Через пару минут ведро снимали, новобранцу давали прикурить ещё, снова надевали ведро на голову, и наказание продолжалось. Почему это считалось таким серьёзным проступком? Как я узнал впоследствии, товарища одного из наших инструкторов застрелил снайпер, когда он закурил после приказа по роте потушить сигареты.

После выпуска из учебки нас отправили на базу Пендлтон, в полевой тренировочный полк. Теперь нас называли морпехами. И мы этим гордились. У нас были марш-броски и полевые учения, но в основном нас натащивали в СБП, специальной боевой подготовке.

Одним из первых упражнений в поле было: как себя вести, если попал в плен. Однажды, поздним вечером, наш комендор-сержант Фелпс приказал нам построиться. Его инструктаж был проще некуда:

— Если вас захватили в плен и допрашивают, называете своё имя, звание и личный номер. Больше ничего. Всё ясно?

— Так точно! — гаркнули мы в ответ.

— Построиться в две шеренги.

Мы быстро построились.

— Шеренга справа от меня — наступающие, — сказал комендор-сержант Фелпс. — Шеренга слева — солдаты противника. У противника есть двадцать минут, чтобы найти укрытие. Наступающие, когда обнаружите кого-нибудь из этих гадов, приказываете ему раздеться догола, оставив только ботинки. Затем пусть свернёт одежду в скатку и положит себе на голову. А вы сопроводите его в это здание, которое позади меня. Наступающим примкнуть штыки. Противнику рассеяться по территории. На выполнение даётся один час.

Деревья и кусты мелькали как тени, когда я бежал в поисках укрытия. Спрятался за большим кустом, ничего лучше найти не смог. Двадцать минут пролетели быстро. Вскоре я увидел свет от фонариков наступающих, услышал, как обнаруженных противников выгоняют из укрытий:

— Встать, живо! Раздевайся!

Через пару минут нашли и меня. На мне скрестились лучи фонарей.

— Встал, живо! — Три морпеха наставили на меня штыки. — Раздевайся! Сверни одежду в скатку и положи себе на голову!

Хоть мы и дружили с этими парнями в казарме, теперь они были предельно серьёзны. Я был врагом, по-настоящему. Они повели меня к командиру.

— Пошёл! Двигай!

В комнате на меня уставился комендор-сержант Фелпс.

— Имя? Звание? Личный номер?

Я ответил, и он тут же спросил:

— Откуда ты? Назови номер взвода!

И хотя его тон был крайне требовательным, я смолчал. Удовольствовавшись этим, Фелпс сказал:

— Ладно. Оденься и встань к остальным.

Морпехи, исполнявшие роль наступающих, приводили других морпехов, исполнявших роль противника. Ганни их допрашивал:

Сергей Игнатьев

Москва

Звёздочки и полоски

Нас перебросили с Белькары на Циприк, к противнику под нос. Остров едва-едва успел очистить вистирский десант. Над поселком, рядом с которым нам предстояло базироваться, пару суток назад поработали джаферы. Напоследок, уже уходя. Дымящиеся развалины, развешанные по обугленным балкам трупы и кислый запах смерти в вязком знойном мареве. Еще там было очень много мух.

Мы брели по мертвой деревне, отмахиваясь от мух, стащив с лиц шейные платки и шарфы, респираторы и гогглы, до тошноты уставшие и слепые от яркого южного солнца, искали ближайший колодец, когда он, встряхиваясь и фыркая, вышел нам навстречу.

Испуганный, мелкий и взъерошенный, хвост трубой, желтые глаза-блюдца, острые уши, и ножки такие забавные — тонкие, на мягких подушечках. Пушистые ляжки смотрелись как парадное галифе.

— Маршал Пуссен, — сказал Бира.

Будто натянутая струна внутри оборвалась. Уставшие, вымотанные и взвинченные до предела, мы начали смеяться. Ржали, пихая друг друга в плечи, задыхаясь и сгибаясь пополам, хлопали по коленкам, теряя равновесие от усталости и чуть не падая в желтую пыль.

Он был вылитый маршал Пуссен, фарлецийский диктатор, в течение своего стодневного правления в Линьеже превративший собственное имя в нарицательное. Такие же желтые разбойничьи глаза, и пышные усищи, и раздутые галифе на тонких ножках. Даже черно-серые полосы на его боках и лоснящийся черный хребет напоминали расцветку драгунского мундира, которым маршал щеголял в свои удачные «сто дней».

Дня через три мы услышали его голос. Мой техник Смурчч наловил в ближней речке рыбешек, сварил уху. Старался для нас — сам лет пять, как обварился в ангаре реактивами, прошел через мортификацию. У него теперь был совсем другой рацион — человеческая еда утратила вкус.

Кошак завопил, учуяв дымок варева, принялся натирать боками смурччевы сапоги. Вопли эти были точь-в-точь знаменитое выступление Пуссена с люка паротанка перед закопченной колоннадой Линьежского Капитула.

Посреди пустого поселка, увешанного трупами, как елка игрушками на Яр-Новогод, мы показывали друг другу на этого кошака и смеялись, как идиоты, складываясь пополам, роняя пилотки, срывая шлемы, хлопая друг дружку по спинам, обтянутым поцарапанной рыжей кожей летных курток. Кот молча лупил на нас ошалевшие желтые глазищи.

Отсмеявшись, Бира сплюнул в пыль и сказал:

— Первая сотня джаферов — моя, — стащил перчатку, вытянул ладонь и кивнул на кота. — Ставлю коньяк. Хороший, фарлецкий. Маршал, мать его, Пуссен — свидетель.

Бира был родом из славояр — водянистые глаза, пышные бакенбарды, подбритая борода, буйство темной шевелюры, собранной на затылке в пучок. С молодых ногтей состоял по авиаклубу, бредил небом и еще в Ливадане показывал чудеса на учебной «фанере».

— Принимаю, — сказал Пино, не задумываясь.

Пино, румяный светловолосый богатырь, был из Глинь-Котла — один из бесчисленных ресурсных городков Империи, глушь и провинция. Ему очень нужно было всегда быть в первых рядах.

— Принимаю, колбасить тя винтом, — ощерился Кайман.

Кайман был старше всех — целых двадцать семь. Переведен в ВВС из стимходов из-за нехватки кадров. Травил байки про вистирский фронт, и все они казались завирухами. Щеки в шрамах, светлый чуб набок, длинный нос крючком и половины зубов не хватает.

Жар, штабс-фельдфебель, наследник барона Жарицына, изобразил на худощавом матово-бледном лице, припорошенном пылью, всегдашнюю скептическую усмешку. Аристократическим жестом стащил одну за другой перчатки, похлопал ими, отряхивая от пыли, затем положил узкую ладонь поверх:

— Согласен.

Мы переглянулись с Нулем. Нуль, улыбчивый насмешник, недоучившийся студент питбургского математического, был мой самый закадычный дружище еще с учебного авиадрома на Ливадане. Подмигнул мне — мол, готов?

— ДА!! — хором крикнули мы, пытаясь опередить друг друга.

Рывком опрокинули свои ладони поверх скрещенных рук товарищей.

Нуль даже тут успел первым.

Маршал Пуссен, молча наблюдавший за нами, почесал нос лапой и принялся тщательно вылизываться.

Фикус, молчун со следами ожога на щеке, в свои двадцать наш самый опытный вояка, уже записавший на счет четыре боевых вылета, до поры хранил молчание.

Он направился вперед, подхватил кота. Тот возмущенно и беззвучно раззявил пасть, неловко подрыгивая лапами. С вяло отбивающимся котом на локте, Фигус вернулся, положил свою широкую ладонь поверх моей, а сверху мазнул растопыренной лапой Пуссена — сделка скреплена.

— Да, шпоры гнутые, — сказал он. — Маршал Пуссен свидетель моим словам!

Тем вечером Пуссен долго пытался обустроиться в нашей общей палатке. Расхаживал между коек, брезгливо подергивая хвостом, принюхивался, поводил усами. Мыкался, ища уголок поуютнее. Закончив осмотр, с чувством напрудонил внушительную лужу в углу, за печкой.

Мы не стали его ругать.

Заправлял у нас Дудочник, худощавый и загорелый дочерна, ему было лет тридцать, мы считали его глубочайшим старцем.

В эскадрилье у нас было четырнадцать «финистов». Поперечные трипланы, котел на два движка по сто лошадей, размах крыльев — десятка, максимальная взлетная пятьсот кг, два «дроппеля» под семимиллиметровый патрон. Варварскими диспропорциями они напоминали традиционные ладийские самовары, к которым подслеповатый и перебравший самогонки мастер-самородок прикрутил шасси и гигантские крылья. Наши инструкторы в учебке с присущим им черным юмором называли их «шутихами».

Десять лет минуло, как в результате переворота на императорский трон взошел Ладислав Первый. Бывший гвардейский поручик, в свое время успевший повоевать с джаферами где-то на востоке, он первым делом взял курс на модернизацию армии. Но все его благие начинания тонули в бесконечных прениях Совета Архиличей. Покойники ценят детали, любят придирааться к мелочам.

Поэтому нам приходилось летать на этой рухляди.

По шкале Карпоффа-Ромеры гипотетическая живучесть подразделения вроде нашего во встречном воздушном бою — 0,06 %. Ниже, чем у армейских «драконов», атакующих колючую проволоку в конном строю. В теории мы считались оружием психологическим — летать взад-вперед над чужими окопами, светить оскаленными черепами на крыльях, кружить над горящими чужими городами, по которым работают цеппелины — наводить шорох, вселять ужас. Нас называли «шестисотыми» и «нетопырями». Но чаще всего — долбанными психами.

Перед первым вылетом не могли сомкнуть глаз. Только Фигус и Кайман дрыхли. Один уже побывал в четырех вылетах, и прямо на темечке у него белела мазком известки седая прядь. Кайман был от рождения непрошибаемый: «Завалят — и что с того? Никто обо мне не поплачет».

Обо мне было кому плакать. Из-за этого я и не мог уснуть.

В первых пяти вылетах мы не видели противника — патрулировали береговую линию. Более-менее пообвыклись с нашими старперами-«финистами» — сработаемся!

Потом султанский генштаб вспомнил, что есть в Ахейском море с его двумя тысячами островов такой островок Циприк, важная стратегическая точка, и их, султанских, оттуда с треском выбили. И надо бы его, пожалуй, вернуть.

Джаферы использовали свою излюбленную стратегию «Зарг-Араш», то есть атаку всеми имеющимися силами, волна за волной, не считаясь с потерями, в надежде, что противник выдохнется, дрогнет, что у него поедет крыша.

На вистирско-харзамской границе они бросали в бой орды янычар-полумехов — механистов, слитых со своими стальными «дромедарами», и неповоротливых големов, и полчища дикарей-ополченцев, чьи знания о приемах ведения боя исчерпывались тем, что винтовку надо держать вперед штыком, как копье.

На Циприк и прилегающие острова двинулась воздушная армада — орды шипастых «гарпеоптериков», дистанционно управляемых с бортов следующих за армадой летающих крепостей — дирижаблей «Ифрит». Они и были нашей приоритетной целью. С «гарпиями», лишенными своих поводырей, справлялось ПВО и флотские артиллеристы.

Джаферская авиация разбилась о Циприк, как штормовая волна об утес.

Фронт сдвинулся на юг. Теперь уже мы сами ходили на джаферов. Над морем — с Циприка на каярратское побережье, сопровождая бомбовозные тоттен-штаффели — цеппелины «химера» и «ехидна», под завязку нагруженные напалмом или хлорцианом, с безумными пилотами в экипажах. Про парней ходили легенды — воздушная гвардия, но с репутацией хуже арестантских рот. Они были круты, но мы-то знали, кто на этой войне настоящая гвардия — мы, истребители.

Мы заслужили это звание кровью.

Каймана мы потеряли в третьей по счету миссии сопровождения. Уже подходили к точке бомбометания на побережье, когда сверху, со стороны солнца, на нас упали гроздь ярко-красных трипланов. Цэ-двадцать шестые, «ассасины». В учебке мы презрительно называли их «цаплями». Не могли дожидаться, когда, начнем песочить их в хвост и в гриву. Вот шанс представился.

Их было втрое больше, чем нас. Мы рассыпали строй и закрутили дикую карусель — по шесть «цапель» на каждую из наших двоек, мельтешение крыльев, клочья пара, трассеры их и наших пулеметов и густая лавина

огня из митральез цеппелинщиков — эти хренадолы садили почем зря, ничуть не переживая, попадем ли мы на директрису.

В том бою я сбил своего первого. Пино сбил двоих. Еще по одному — Бира, Нуль и Фигус. Кайман уткнулся гогглами в испещренный кружевами пробоин обтекатель, его «финист» завалился на нос и, чадя черным дымом, свечой ушел навстречу зеленым волнам, взметнул высокий фонтан, ключья пены.

Когда все закончилось, я — прямо с полосы, не снимая шлема и парашюта — направился в наш кабачок. Сел за табурет у стойки и цедил стаканами марочную хреновуху, пока не почувствовал, что действительно пьян.

Потом сидел посреди взлетного поля, втягивал ноздрями пряные запахи скошенной травы, слушал цикад. Только тут понял, что забыл отстегнуть парашют, хотя шлем уже где-то посеял. Непослушными пальцами пытался справиться с застежками и ремешками, они никак не поддавались, будто нарочно, будто назло...

Я с досадой сплюнул, сложил руки на коленях, уткнулся в них носом. Впился ногтями в ладони, чтоб не разреветься. И тут услышал тихий топот в траве.

Он подошел, стал молча тыкаться колючими усами в ладони, касался пальцев горячим шершавым языком. Я чесал его за ухом, а он ворчал в ответ. Мол, все не так плохо. Мол, будем жить, парень.

Потом мы потеряли Пино. Он успел сбить троих. Он шел на рекорд.

Потом мы с Нулем вышли вперед. Оба дошли до десятки. Он старался догнать меня, но при встрече не подмигнул, как я ждал. Хлопнул по плечу, выбив из кожанки завихрения желтой пыли. Молча направился к стойке.

Дудочник, расплачиваясь из собственного портмоне, ставил нам по стопарю за каждый сбитый. Но мы стремились совсем к другой «сотке».

В перерывах между вылетами мы сидели в шезлонгах на краю авиадрома, дремали, тянули из стеклянных бутылок нагревшуюся «мате-коку». Вокруг взлетного поля — вырубки посреди хвойного леса, в зарослях высокой рыжей травы, порой мелькал черный кончик хвоста, как перископ стиммарины, мотылялся над травами. Пуссен ловил растопыренными лапами кузнечиков и бабочек. Щурился и беззвучно скалился, когда они выскальзывали из его западни и споро улетали навстречу солнцу. В душе он был истребитель. Такой же, как мы.

Однажды он притащил на порог нашей палатки дохлую рыжую крысу. Маршал Пуссен стоял рядом с ней, надувшись, сияя белоснежным галстуком. Его первый сбитый.

Фронт сдвинулся, и нас перебросили с Циприка на Замир-канде. Теперь мы летали над «страустаном» — спорными землями между Вистирией и Султанатом. Из-за них и началась заваруха между нашим беспокойным союзником и нашим извечным врагом.

Мы штурмовали джаферские колонны и авиадромы, вольным поиском прочесывали небо пустыни. Мы делали по шесть вылетов в сутки — трясущиеся руки, красные глаза, запинаящиеся языки, пропотевшие гимнастерки и шлемы, закопченные кожанки и респираторы.

Над пустыней мы потеряли Нуля.

Фигус сбил 21-го. Жар довел счет до 22-х. Бира — до 37-ми.

Я — до 41-го.

За первые дни кампании мне вручили «Летную медаль», за Каярратскую битву, когда я завалил подряд четыре «ифрита» — «Боевые заслуги». Четвертую степень «коловрата» за тридцать пятый и мечи с бантом к нему — после сороковника.

Журналистка из «Инфернопольского упокойца» спросила — в чем мой секрет? Из-под ее тропического шлема выбивались дерзкие рыжие пряди, короткие шорты открывали крепкие загорелые бедра.

— Просто я создан для этой работы, — подмигнул я, поправляя черную пилотку с серебряной кокардой, чуть набекрень.

Меня сфотографировали на фоне борта «финиста», изрисованного черными звездочками за каждого сбитого. В нашем кабачке мы угощали журналистов хреновухой и фирменной ухой Смурьча, а потом я с рыжей оказался посреди леса за авиадромом, на куче валежника.

— У меня еще не было с Героем, — горячо прошептала она.

«У меня еще просто не было», хотелось мне ответить, но я был слишком пьян, чтобы связно ворочать языком. Предпочел заняться застежкой ее шорт.

Когда они грузились в цеппелин «на большую землю», я спросил, будет ли она писать?

— Конечно, — она чмокнула меня в щеку. — Ведь это моя работа! Я пришлю тебе номер с твоим снимком!

Не прислала.

«Краски не напасешься», ворчал Смурьч, прилаживая к борту трафарет со звездами и вода по нему кистью. Старый добрый покойник Смурьч. Когда он начинал спорить со своими коллегами-техниками о политике, в курилке у ПВО-ошных траншей, он напоминал мне отца. Но в отличие от отца, его я мог понять — некрократия и мортинжинеры подарили ему шанс на вторую жизнь.

«На мой коньяк не зарься, сынок!» — ревел Бира, вместе с остальным «качая» меня на вытянутых руках посреди взлетной, не отходя от окутанного клубами пара, закопченного «финиста» с частым решетом пробоин в крыльях.

В один субботний день Дудочник собрал нас в кабачке. Всех, кто остался.

Он стащил мятую фуражку, пригладил редкие волосы. Сказал, что с джаферами покончено. Вистирцы, при посредничестве наших дипломатов, заключили мир на выгодных условиях. «Мы победили», сказал он.